

Ханс Ульрих Гумбрехт

**Ледяные объятия «научности»,
или Почему гуманитарным наукам предпочтительнее
быть «Humanities and Arts»**

Опубликовано в журнале: «НЛО» 2006, № 81
(САМО) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРИЯ

Размышления об институциональных перспективах гуманитарных наук мне хотелось бы начать с описания трех недавних и весьма унижительных эпизодов из моей скромной деятельности профессионального ученого. Первый из них произошел несколько месяцев назад, когда редактор одного научного журнала, кичащегося своими подлинно «академическими» стандартами, прислал мне гранки убийственной статьи-рецензии на написанную мной краткую биографию выдающегося австрийского филолога Лео Шпитцера¹. Этот биографический очерк — часть моей книги о пяти ученых, прославившихся в той же области («романские языки и литературы»), какую впоследствии избрал я; все они трудились в Германии в первой половине XX в. и все,

¹ Автор рецензии — профессор Бернхард Хурш (Bernhard Hurch) из Университета Граца. Сама рецензия должна выйти в третьем номере журнала «Romanische Forschungen» за 2006 год. Редактор этого журнала — профессор Франц Лебзанфт (Franz Lebsanft), преподающий в Университете Бохума (см. мой ответ профессору Хуршу в том же номере: S. 357—359). Очерк, подвергшийся критике Хурша, называется «Leo Spitzers Style» — он опубликован в моей книге: *Gumbrecht H. U. Vom Leben und Sterben der grossen Romanisten. Karl Vossler, Ernst Robert Curtius, Leo Spitzer, Erich Auerbach, Werner Krauss. München, 2002. S. 72—151.*

по очень разным причинам, состояли в весьма напряженных, а порой и смертельно опасных отношениях с национал-социалистским режимом. В книге, хотя это и не подчеркивается, я рассматриваю такой феномен, как совершенно новая, небывалая прежде немецкая национальная гордость: она состоит в том, что нельзя, да и незачем, замалчивать позорные страницы истории Германии с 1933 г. по 1945 г.

Изложение сути своей критики автор рецензии, Бернارد Хурш, начинает с резковатого, пожалуй, вывода: написав статью о Шпитцере, я тем самым лишил себя права зваться «ученым» [«sich einen Wissenschaftler zu nennen»]. Подобные ремарки обычно вызывают у исследователя панику (а зачастую именно на это и нацелены), и я, не будучи исключением из этого правила, сразу встрепнулся: не допустил ли я каких-нибудь роковых ошибок — скажем, переврал цитаты, упустил важные факты или не учел фундаментальных работ по исследуемой теме (надо сказать, такое со мной случается чаще, чем хотелось бы). Но, читая рецензию Хурша дальше, я испытал огромное облегчение. Оказалось, все три его главные претензии основаны на вполне элементарных (а вовсе не «фундаментальных» и тем более не «философских») расхождениях во взглядах на то, какими должны быть гуманитарные науки (Humanities) и к чему они должны стремиться.

Во-первых, коллеге не понравилось, что я рассматриваю биографии наших с

ним предшественников почти исключительно как примеры некоей давно вымершей формы жизни (называемой «романистикой»), вместо того чтобы оценить вклад этих ученых в нынешнее состояние романской филологии.

Во-вторых, его негодование вызвал тот факт, что я цитирую не все книги и статьи о Лео Шпитцере, в частности не учитываю работ самого Хурша. Такая реакция вполне понятна, и все же, на мой взгляд, было бы куда убедительнее, если бы Хурш уточнил, каким образом не упомянутые мною публикации помогли бы мне достичь моей весьма специальной цели.

Наконец, рецензента, должно быть, возмутило мое намерение изобразить цельную картину личности Шпитцера, мое нежелание замалчивать или оправдывать определенные взгляды и поступки моего героя — те взгляды и поступки, которые с определенных позиций можно было бы причислить к слабостям или недостаткам.

Второй эпизод, который привел меня в растерянность и о котором я не могу умолчать, связан с одной из проявившихся в немецкой прессе года полтора назад многочисленных рецензий на перевод моей книги «Похвальное слово красоте спорта». Раздражение некоторых журналистов вызвало то, что автор, которому по статусу положено разделять предвзятые «критические» взгляды типичного западного интеллектуала, предпочел писать в намеренно панегирическом стиле, и не о

чем-нибудь, а о спорте, т. е. о явлении, каковое давно заклеямили «отчуждающим». Но один из рецензентов зашел особенно далеко, заявив, что, позволив тут себе хвалебный тон, я пополнил ряды «экс-интеллектуалов-кастратов»².

Наконец, третья ситуация. Мою книгу «В 1926 году», вышедшую несколько лет назад, журналисты встретили куда более приветливо. В этой книге я предложил читателю погрузиться — настолько глубоко, насколько это возможно при посредстве текста, — в повседневную жизнь одного из минувших годов, выбранного наугад. Однако недовольны были критики из академической среды. Одни пеняли мне на то, что я так и не сумел найти и продемонстрировать конкретные «методы» решения конкретных проблем. Другие нашли недопустимым то, что я даже не попытался объяснить, каким образом год 1926 связан с настоящим временем (подразумевая, по всей видимости, «и какую практическую пользу можно отсюда извлечь»)³.

Вспоминая эти три потока критики (и не только их), я часто с беспокойством

² См. немецкое издание: *Gumbrecht H. U. Lob des Sports*. Frankfurt am Main, 2004. Из наиболее негативных рецензий в периодической прессе, авторы которых возмущаются хвалебным тоном этой работы, см. в первую очередь рецензии Дирка Шумера (Dirk Schümer) во «Frankfurter Allgemeine Zeitung» за 16 марта 2004 г. и Штефена Шлака (Stephen Schlak) в «Berliner Zeitung» за 17 марта 2004 г.

³ *Gumbrecht H. U. In 1926. Living on the Edge of Time*. Cambridge, Mass., 1997 (переведено на португальский, немецкий, испанский и русский языки). См. рецензию Дирка Шумана, написанную с позиций «научных» требований к академической истории в: *Archiv für Sozialgeschichte*. Bd. 40. [2000]

отмечаю, что уязвлен гораздо меньше, чем требует от меня профессиональная этика академического мира. Иногда я даже втайне горжусь тем, что мои работы последних лет вызывают такое раздражение у некоторых коллег, поскольку напрашивается предположение, что все это — разновидности защитной реакции. Защищают они традицию воспринимать гуманитарные науки (*Humanities*) как «науку» («*science*») — традицию, которую я нахожу необоснованной и часто вредящей интеллектуальным результатам нашего труда. Но эти реакции помогли мне яснее понять, каким я хотел бы представить будущее гуманитарных наук, и именно об этом и пойдет речь в статье. Исходя из уже упомянутых рецензий и критических отзывов, мы в первую очередь внимательно изучим концепцию «научности» гуманитарных наук [1]. Затем мы совершим краткий экскурс в историю и рассмотрим, каким образом — преимущественно в XIX в., в академических заведениях Германии и Франции — те виды интеллектуальной деятельности, которые в наши дни объединены под названием «гуманитарных наук», превратились в «науки» [2]. Далее последует реалистичное (надеюсь) описание функций, которые предположительно должны выполнять университеты и гуманитарные науки сейчас, в начале XXI в., и сравнение этой картины с противоположной (и хотелось бы, чтобы она стала нормативной) идеей гуманитарных наук как институционального пространства

Так это, извините, по определению следует, если его давать, а не говорить беспредметно. Ни начала, ни конца в этом случае не бывает.

для «рискованного мышления» [3]. Наконец, будет предложено несколько вариантов ответа на вопрос о том, возможно ли (и если да, то при каких условиях), чтобы концепция гуманитарных наук как «рискованного мышления» расширила свое влияние в университетах будущего [4].

Итак, у Вас наука = мышлению. Это просто неверно.

[1]

Итак, попытаемся реконструировать пять предпосылок, которые, по всей видимости, и вызвали наиболее гневную критику моей недавней работы. Первая: чем больше гуманитарные науки, в целом или по отдельности, полагают, что их долг — вести себя «научно», тем больше они вынуждают самих себя функционировать как закрытая система (или, соответственно, закрытые системы). Эта закономерность означает, что каждый новый исследовательский проект обязан доказывать свою «научную новизну», принимая во внимание «последние научные достижения» — т. е. сумму всех уже накопленных знаний о том или ином вопросе или явлении. Подразумевается, что такое «исследование с точки зрения новизны» либо корректирует, либо усложняет тот или иной сегмент нашей «научной картины мира»⁴ — откуда, разумеется, вытекает вывод о значимости непрерывного изменения наших знаний о разных культурах.

?? Откуда это следует?

Ну да, надо «жевать» все уже «пережеванное» — это как раз императив. А вот решить задачи в области неизученного — такого даже и вообразить невозможно.

⁴ См.: Heidegger M. Die Zeitalter des Weltbildes [1938] // Heidegger M. Holzwege. Frankfurt am Main, 1950. S. 75—114.

Вторая причина критики, которая, помимо прочего, тоже связана с представлением о «научности» гуманитарных наук, — это «метод», а точнее, отсутствие такового с моей стороны. Методы рассматриваются как в высшей степени упорядоченные и канонизированные процедуры, структурированные в виде последовательных «шагов» (тут прослеживается связь с древнегреческим значением слова «метод» — «путь, тропа»), которые, в свою очередь, ассоциируются с конкретными рядами весьма определенных — тоже канонических — объектов, вопросов, целей. В идеале методы позволяют «нормальной науке» действовать вслепую, ища ответы на вопросы без привлечения *СВОБОДНОЙ МЫСЛИ*. Третье — это ориентированность на цель и автоматизация, характерные, благодаря методам отдельных дисциплин, для современных «научных» изысканий и часто приветствуемые как показатели «научной точности». Мир университетской науки в большей мере, чем прочие социальные институты, ассоциирует эту точность с «профессионализмом» — откуда резонно предположить, что ученые, позволяющие себе задаваться *ОСОБЫМИ ВОПРОСАМИ* и искать *ОСОБЫЕ ПУТИ* их решения, серьезно рискуют своей профессиональной репутацией.

Четвертое, чего ожидают и из чего исходят критики: восприятие академических дисциплин как «научных», «научные методы» и «научная точность» — все это, как предполагается, рождает истину, т. е.

Это что за тип мысли? А что тогда, мысль — несвободная?

Разве это не метод?

концептуальное знание о мире, которое может считаться решающим и *неопровержимым*. Эта идея и ее связь с определенными типами поведения (на которых она и основана) в эпистемологических спорах минувшего века растеряли немало своих доказательств, однако по-прежнему принято считать, что *истина* позволяет решать *практические задачи*. Учитывая *проблематичный* и *рискованный* характер категории «*истина*», мы видим сейчас, как усилился акцент на способности науки решать проблемы; в том числе это касается и гуманитарных наук, практическая релевантность которых *никогда прежде не считалась очевидной*. Наконец — и это характерно только для гуманитарных наук — их (отнюдь не очевидная) практическая ценность чаще всего определяется с точки зрения их «критического» потенциала, т. е. способности продемонстрировать, что нашей реальности сегодня не хватает конкретных нормативных идей.

? Это откуда?
Знание развивается!

Да!!!

Есть ее суть и только!

Откуда это?

Откуда это?

[2]

В целом можно отметить, что критике моих работ в последние годы присущ интеллектуальный стиль, который Паскаль охарактеризовал как «*esprit geometrique*». Стоит ли говорить, что программной для своей собственной работы я считаю противоположную концепцию Паскаля — идею «*esprit de finesse*»? Откуда же взялась традиция определять гуманитар-

ные науки как особую группу «наук» («sciences»), принадлежащих к области «esprit geometrique»? Прежде чем пытаться ответить на этот вопрос, я хотел бы выделить три разных способа понимания того, что такое гуманитарные науки, и три разных практических подхода к ним: в англоязычном, франкоязычном и немецкоязычном мире. В англо-американской традиции — и это необходимо здесь подчеркнуть — гуманитарные науки не обязаны быть «научными». Наука («science») в английском понимании этого слова исключает гуманитарные науки, а если буквально перевести на английский такое слово, как, скажем, *Literaturwissenschaft*, то получится явный оксюморон — «literary science». И напротив, мне представляется, что благодаря не такому «точному», как во франкоязычном и немецкоязычном мире, стилю работы англо-американские гуманитарные науки находятся в долгосрочном процессе обретения нового смысла их полного названия — «*Humanities and Arts*», буквально «гуманитарные науки и искусства», — восходящего к «свободным искусствам» («*Artes*») средневековых университетов. Этот новый смысл, похоже, приобретает коннотацию близости к современной концепции «*arts*» как области человеческого поведения, основанной скорее на вдохновении и воображении, нежели на системе и методе. Во Франции, однако, название «*les sciences humaines*» восходит к институциональной перестройке университетов в начале XIX в.

Да! Но зачем путать науку и искусство? Есть сходство, но отличий больше!

под влиянием идей той группы ученых, которых называли «энциклопедистами». Интересно было бы понять: насколько верно первое впечатление, что «sciences humaines» в этой национальной версии ближе к общественным наукам и сильнее отделены от наук естественных, нежели в Германии; подтверждается ли это мнение подробным изучением соответствующих свидетельств? Наконец, что поразительно, немецкие «Geisteswissenschaften» (гуманитарные науки) — результат относительно недавнего движения за отделение от естественных наук, начавшегося в Берлинском университете в 1890-е гг. Как показывает история русского формализма в литературоведении и лингвистике, этот образ «Geisteswissenschaften» уже вскоре, в годы перед Октябрьской революцией, стал источником вдохновения для нового поколения российских гуманитариев и затем приобрел прочный и совершенно бесспорный, как ни в каком другом национальном контексте, статус благодаря марксистской концепции «научности» концепции, которая в Советском Союзе была нормативной и общеобязательной.

Но вернемся к немецкой предыстории «Geisteswissenschaften». Несмотря на всю влияние, которой мы обычно наделяем Канта и других философов-идеалистов, идея «университета» в начале XIX в. отнюдь не отождествлялась с «наукой», как в наши дни. В программе, составленной Вильгельмом фон Гумбольдтом в 1810 г. для нового универси-

Это идеология в науке! Что есть путь к ее гибели, если речь не идет о науке в идеологии.

тета в Берлине, очень мало говорится о «точности», «методе» и даже «истине»⁵. Передача знаний и обучение практическим решениям — это задачи учреждений среднего образования; университет же, по мнению Гумбольдта, характеризуется производством новых, непредсказуемых вопросов и проблем. Гумбольдт еще не воспринимает науки (Sciences) и гуманитарные науки (Humanities) как разные интеллектуальные и институциональные сферы, однако он рассматривает лабораторию и семинар как пространства, где, по его выражению, представители разных поколений заражают друг друга своим энтузиазмом. А главное, Гумбольдт подчеркивает, что, хотя государство и обязано финансировать университеты, ему невыгодно использовать этот факт как причину вмешательства в их повседневную жизнь, ибо подобное вмешательство ослабляет потенциал университета как источника инноваций и перемен.

Должно быть, возникновению современной генерализованной концепции «науки» способствовало появление — два-три десятилетия спустя — нового мировоззрения, которое Мишель Фуко в своих «Словах и вещах» называет «историзацией вещей». Еще со времен Дарвина и Гегеля считалось, что подлинная реаль-

Чушь! А решением этих вопросов, значит, не заниматься?

Ну что это такое?

Так все-таки решают задачи!!!

В Киеве дядька...

Зачем эта тарбарщина?!

⁵ *Humboldt W. Ueber die innere und aussere Organisation der Hoeheren Wissenschaftlichen Anstalten in Berlin // Humboldt W. Werke in funf Baenden. Vol. IV. Stuttgart, 1964. S. 255—265.*

ность, лежащая «под поверхностью» явлений, состоит из невидимых «законов», управляющих биологической эволюцией и историческими переменами. В идеале такие законы сжаты в абстрактную математическую форму алгоритмов, и этим обусловлена возможность «научного» прогнозирования. Когда столетие спустя Вильгельм Дильтей разработал идею отделения «Geisteswissenschaften» от «науки», одной из основных проблем его теории стало как раз таки ожидание прогностической способности. Согласно Дильтею, новое институциональное измерение гуманитарных наук должно было состоять из всех тех дисциплин, основной задачей которых является акт понимания. Истолкование текстов и произведений искусства должно возвращать к изначальному моменту переживания [«Erlebnis»], легшего в их основу, а герменевтика как философская рефлексия условий интерпретации должна обеспечивать принцип интеллектуальной связности, когерентности.

Да! Разве не так?

Это есть у любой науки как таковой!

Однако проблема «Geisteswissenschaften» заключалась не в их недостаточной гомогенности, а, скорее, во множественных коннотациях, вызванных тем, что их продолжали воспринимать как «sciences». Гумбольдтова идея университета оставляла в институциональном смысле достаточно места для раскрытия *особого интеллектуального потенциала гуманитарных наук*, но отсутствие точек опоры в реальном мире и невозможность соот-

Это что?

ветствия «научным» стандартам мыслительной точности стали для «Geisteswissenschaften» двойной «родовой травмой». Возможно, именно этим и объясняется, почему — особенно во второй половине XX в. — гуманитарные науки, причем не только в Германии, то погружались в дебри интерпретации (например, эпоха «новой критики» и «имманентной интерпретации» в 1950-е гг. или период деконструкции и нового историзма в 1980-е гг.), то радостно стремились соответствовать критериям «точности», ассоциируемым с «наукой» (структурализм, соссюрская лингвистика и марксизм 1960-х гг.; cultural studies, постколониальные исследования или исследования рекламы в 1990-е гг.).

Мне бы хотелось, чтобы этот краткий обзор институциональной эмансипации гуманитарных наук помог нам понять (и более подробно изучение их истории наверняка подтвердит этот вывод), что существует определенное напряжение между интеллектуальным потенциалом этих дисциплин и навязываемой им обязанностью — причем навязываемой тем активнее, чем более независимыми они становятся, — оправдывать «научные» ожидания. Но каким образом выявить и определить эту разность потенциалов, особенно когда речь идет об университетах XXI в.?

Дайте же Ваше определение!

Если это не так, то это не наука и исчезает сама «тема».

[3]

Вне всякого сомнения — и несмотря на блестящие идеи Гумбольта, — главная ин-

?!

ституциональная функция университетов всегда заключалась (и будет заключаться в обозримом будущем) в производстве и передаче *знаний* необходимых для того, чтобы быть специалистом (сравнительно) высокого уровня. Достаточно вспомнить медицину, юриспруденцию, технические науки и множество других академических дисциплин, которые в буквальном смысле умножают существующие профессиональные миры. Кроме того, мы ждем от университета консультаций и советов в решении определенных задач, возникающих во внеакадемическом контексте. И именно из-за убежденности в том, что производство знания не должно полностью исчерпываться предсказуемыми и ясно очерченными задачами, мы допускаем, что академические дисциплины в большинстве своем продуцируют и накапливают идеи, способные дать ответы на неожиданные вопросы. И хотя в этом смысле больше преуспевали естественные науки, в последние десятилетия ожидания сместились в сторону таких новых областей исследования, как *биоинженерия, информатика* и отчасти *общественные науки* — хотя у меня создается впечатление, что последние лишь подтверждают, посредством широких эмпирических исследований, то, что неизменно говорит здравый смысл.

Так знаний или только постановки проблем? (предыд. стр.)

*Разве это не ест. науки?
Что это?*

Реалистическая оценка потенциала гуманитарных наук, напротив, скорее всего, приведет к выводу о том, что гу-

манитарные науки практически никак не связаны ни с какими профессиями, кроме профессии ученого и — с поправкой на бесполезность академических знаний в реальной жизни — школьного учителя. Это же касается, даже с большей степенью очевидности, и потребности в практических консультациях. Разве легко представить, чтобы отдельно взятый человек или организация всерьез рассчитывали на помощь гуманитарных наук в принятии конкретных решений? Именно поэтому я предпочитаю рассматривать Humanities and Arts (а с учетом современных обстоятельств — и некоторые «классические» естественнонаучные дисциплины) как пространства, обеспечивающие возможность рискованного мышления⁶. Гуманитарные науки полностью раскрывают свой потенциал не когда формируют стандарты профессионализма или отвечают на извечные вопросы, а когда занимаются тем, что Вильгельм фон Гумбольдт считал функцией университета в целом, т. е. постановкой новых вопросов и проблем. Для этого они, гуманитарные науки, благоразумно переистолковывают свои ограниченные социальные функции в качестве права на мышление, идущее навстречу воображению. Вместо того чтобы уточнять и пересматривать институционализированные системы идей, гуманитарные науки долж-

Чушь! Что значит не связаны? Очень связаны!

Да! В этом ключевая точка!

Это что такое?

Откуда это?! И все?! А решать их?! Опять о том же и с противоположных позиций. Ну как можно не уважать элементарную логику?

⁶ Gumbrecht H. U. Riskantes Denken // Gumbrecht H.U. Der kritische Blick. Über intellektuelle Tätigkeiten und Tugenden Uwe Justus Wenzel. Frankfurt am Main, 2002. S. 140–147.

ны стремиться к изобретению альтернативных путей понимания, и объяснения того, что мы зовем «реальностью». Однако вот что отчасти парадоксально: чем больше они игнорируют требование быть «практичными», тем больше сливаются с той единственной функцией, которую могут выполнять, — задачей производства и накопления идущих навстречу интуиции способов мысли, Эта функция расширяет и усложняет индивидуальные умы и в то же время позволяет обществам и их институтам оставаться открытыми для перемен. Но почему мы должны ассоциировать такой образ мыслей с волнующей концепцией «риска»? Потому что, если практиковать его в повседневных институтах, это будет угрожать их беспроблемной и успешной работе. Иными словами: интеллектуальные операции, являющиеся привилегиями гуманитариев, подразумевают (выгодную для себя) отдаленность от практической повседневности, т. е. успешно пользуются тем, что мы метафорично и самокритично называем «башней из слоновой кости».

Однако любое прикосновение ледяной руки научности (*science*) способно ограничить этот специфический потенциал гуманитарных наук как источник рискованного мышления. Важнейший, но крайне редко замечаемый контраст связан со статусом знания в гуманитарных науках и в других дисциплинах. Если в науке (*science*) высшей целью является производство и постоянный пересмотр конкретных

Откуда это?!

???

Это известная отрасль — креативистика. Это гносеология.

Вот и определение: узкое, вкусовое, никак не системное, бесполезное.

Оно в любой настоящей науке есть!

областей знания, а мышление служит для этого производства лишь инструментом, то в гуманитарных науках (*Humanities*) знание должно быть необходимым условием достижения главной цели — мышления, идущего навстречу интуиции. Цель гуманитарных наук — интенсивное мышление, оно же инструмент; а инструмент, позволяющий достичь этой цели, — знание, оно же и цель! Ибо наше знание о культурах прошлого, наше чтение, например, Платона или Данте бессмысленно и бесплодно, если оно не способствует появлению форм мышления, лежащих вне структур наших повседневных миров. Подобным же образом следует признать негодным и следование в гуманитарных науках заранее определенным методам — как поведение, которое сводит на нет потенциал рискованного мышления. Единственным ценным способом «точного» мышления в рамках гуманитарных наук может стать безоговорочное стремление к определенным интуитивным представлениям, вовсе не имеющим надежного институционального подкрепления.

Вместо метода и точности гуманитарные науки должны, напротив, поощрять плодотворное применение воображения — т. е. тот аспект восприятия мира, который и обеспечивает многоцветность мысленных образов и интенсивность чувств в качестве функционального эквивалента четко определенных и абстрактных концепций, требуемых наукой. В то

Да в чем отличие-то?

«Шорох орехов»

*Замечательно!
Цель — это средство! Ну дальше некуда.*

Это первичная и самая беспомощная стадия познания.

Первая стадия познания!

же время гуманитарные науки должны опираться на акты суждения, на способность проводить различия и принимать решения, которые не могут быть основаны на «объективных» измерениях или на дедуктивных логических выводах. Если понять особый потенциал гуманитарных наук должным образом, то они будут ближе к понятию *искусства* (Art), чем к идее науки (Science). Ибо они тоже являются собой искусство в изначальном понимании — как ремесло, «научиться» (и «научить») которому можно только у мастера (или самому будучи мастером), а не путем ознакомления с множеством процедур и методов. Подобно эстетическим суждениям, суждение в гуманитарных науках — *радикально независимый акт, содержание которого не может быть выведено из каких бы то ни было стабильных базовых принципов.*

Да! Так не путайте искусство и науку!

Это не наука!

Чем же Humanities отличаются от Arts? Наиболее очевидное отличие оскорбительно для отчасти романтического самовосприятия многих гуманитариев. Заключается это отличие в том факте, что большинство из нас, гуманитариев, получает ежемесячное жалование и имеет статус «государственных служащих» (или эквивалентный ему — в зависимости от страны), а люди искусства зависят от прихотей рынка, в высшей степени непредсказуемого и неустойчивого. Кроме того, хотя и Humanities, и Arts склонны приписывать знанию инструментальную (а не

телеологическую) роль, применение знания у них, по всей видимости, подчиняется разным правилам. Гуманитариям воображение служит лишь для выдвижения новых догадок и новых представлений о том, что мы считаем реальностью; литература и искусство могут позволить себе производство художественного вымысла — прежде чем вернуться к собственным, весьма своеобразным и сложным требованиям истины и референциальности. С учетом этих очевидных различий, я полагаю, гуманитариям хорошо было бы осознавать, каким образом *удаленность от Наук* и близость к Искусствам помогает им в полной мере задействовать особый интеллектуальный потенциал, свойственный именно гуманитарной традиции.

Так если вы удалены, то не обсуждайте науки. Вы обсуждаете совершенно иное. Так и скажите. Полная каша.

[4]

Каким будет университет будущего — если, конечно, этот институт вообще имеет потенцию к выживанию⁷? Основной экономически обусловленной переменной наверняка станет замена учебных аудиторий, в которых по-прежнему происходит традиционная передача знаний лицом к лицу, на средства электронного обучения. До определенного предела эта трансформация способна наилучшим образом

⁷ Некоторые выдающиеся специалисты и (бывшие) представители верхнего звена университетской администрации вовсе не считают такое выживание само собой разумеющимся. См., например, мнение почетного президента Стэнфордского университета: *Casper Gerhard. Um mundo sem universidades. Rio de Janeiro, 1999.*

послужить интересам и университета как институции, и всех, кто им пользуется. Однако предел, с которым необходимо считаться, все же существует, хотя, боюсь, мы пока еще очень мало о нем знаем. Речь идет о границе между стандартной передачей стандартного знания — и передачей (получением) знаний на более высоком уровне, когда конкретные интеллектуальные функции тесно связаны с физическим присутствием собеседников в месте дебатов и зависят от этого присутствия. Конечно, все мы «чувствуем», что электронным коммуникативным средствам никогда полностью не заменить вдохновенную лекцию о шекспировских пьесах или напряженную дискуссию о концепции истины у Платона; но тем не менее рискну утверждать, что мы слишком мало знаем о причинах этой видимой «напряженности» и «вдохновенности», чтобы успешно их отстаивать.

При этом, похоже, мир корпораций и индустриального производства гораздо меньше, чем в прежние времена, опирается на консультативный потенциал университета и его способность находить решения. Многие корпорации давно уже учредили собственные, зачастую поразительно плодотворные исследовательские центры, структура которых максимально приспособлена к местным особенностям и потребностям. Иногда (например, в мире автомобильной промышленности, в случае «Тойоты» и «Фольксвагена») это

новшество, с его тенденцией к полному освобождению корпоративного мира от университетского, уже парадоксальным образом прошло полный круг и завершилось основанием новых «университетов», которые разрабатываются, финансируются и управляются самими корпорациями.

Найдется ли место для *классических гуманитарных наук*, для таких дисциплин и способов мышления, как философия и история, литературоведение и музыковедение, в университете будущего — университете, где со временем могут исчезнуть целые области исследования и преподавания и отмереть многие функции, статус которых до сих пор был куда более бесспорным, чем у гуманитарных наук? Разумеется, ответ на столь сложный вопрос, на вопрос, сама постановка которого нарушает некоторые табу политкорректности, принадлежит к области догадок. Однако позвольте в заключение привести описание двух ориентированных на будущее ситуаций из повседневной академической «реальной жизни», свидетелем которых мне случайно довелось стать. Возможно, это поможет нам лучше представить развитие гуманитарных наук по двум альтернативным сценариям.

Первая из этих ситуаций — кампания по сбору средств, которая вот-вот начнется в Стэнфордском университете с целью собрать четыре миллиарда долларов, что может быть легко достигнуто и даже перевыполнено, если судить по нынешне-

Значит они все-таки есть!

Опять — каша!

му уровню ежегодных пожертвований. Прошлая кампания, целью которой было собрать один миллиард долларов, увенчалась успехом и обеспечила финансовую возможность для дальнейшего преподавания в малых группах. Новая кампания ориентирована преимущественно на развитие консультативного потенциала университета, особенно в традиционно важных для него областях. Стэнфорд намерен поддерживать и расширять свою роль лидера в исследованиях и новых (меж)дисциплинарных конфигурациях, возникающих между традиционными естественными науками и техникой. В то же время существует идея преобразовать, в сотрудничестве с кафедрами общественных наук, кафедру политологии в будущей «Центр международного политического консультирования».

Как ни поразительно это на первый взгляд, «список пожеланий» со стороны гуманитарных наук и искусств построен исключительно на основе цели (на вид более чем тривиальной) развития «творческого потенциала» студентов. Несколько сотен миллионов долларов планируется вложить в передовой Центр исполнительских видов искусств, в студийные искусства, в помещения для преподавания инструментальной музыки. Вне англо-американской традиции высшего образования ни одна из этих функций никогда не была институционально связана с преподаванием гуманитарных наук в университете! Именно поэтому некоторые

консервативно настроенные стэнфордские преподаватели гуманитарных наук направили письмо протеста президенту университета. Администрация президента университета немедленно отреагировала, пригласив всех нас на завтрак с президентом Джоном Хеннеси и проректором Джоном Этчеменди.

На этом мероприятии мы с изумлением и в то же время с удовлетворением (поскольку у нас нет оснований сомневаться в искренности наших руководителей и коллег) узнали, что Стэнфорд, помимо упомянутой грандиозной кампании по сбору средств, готов предоставить щедрое и даже неограниченное финансирование любым долгосрочным идеям и проектам из «нетворческой» гуманитарной сферы. «С какими бы предложениями ни выступили вы, гуманитарии, — сказал Джон Хеннеси, — все это сравнительно недорого и вполне достижимо». Мы узнали, что такие дисциплины, как философия, история, литературная критика, не включены в программу сбора средств по той лишь очевидной причине, что этот самый поиск денег тоже стоит денег — и соотношение тут таково, что чем дешевле проект, тем проблематичнее его финансирование. Большой объем финансирования, необходимый для здания Центра исполнительских видов искусств, оправдывает расходы на поиск средств; однако совсем иначе обстоит дело с типичными предложениями гуманитариев — такими как

организация коллоквиумов и публичных лекций, приобретение старых и новых книг и т. д.; все эти проекты сравнительно малобюджетны.

Осталось понять, что означают аргументы Хеннеси для «*рискованного мышления*» в университетах будущего. Как я уже говорил, нет причин подвергать сомнению благие намерения нашей администрации, и я совершенно уверен, что президент Стэнфорда не кривит душой, когда говорит, что гуманитарные науки — это ядро всякого хорошего университета, энергетический центр, «приводящий в действие весь интеллектуальный механизм». Но широкомасштабные фандрейзинговые кампании (которые вскоре будут объявлены и некоторыми другими ведущими университетами США) способны косвенным образом повлиять на будущее восприятие и развитие университета как институции — поэтому в будущем гуманитарные науки могут по финансовым мотивам кануть в Лету, несмотря на самые благие намерения сегодняшних администраторов.

Второй мой пример относится к проекту частного университета, недавно торжественно открытого международного заведения с неуклюжим названием «Авто-Юни», полученным от учредителя — корпорации «Фольксваген». Манифест «Авто-Юни» освежающе контрастирует с другими подобными документами, в которых обычно слишком много слов о благих, то бишь бескорыстных, намере-

Это один из элементов креативистики, не более! Уж совсем не суть гуманистики.

ниях учредителей; он гласит, что главная цель создания «Авто-Юни» — стабильное улучшение продукции всех брендов корпорации (в которую, помимо «Фольксвагена», входят «Ауди», «Шкода», «Сеат», «Ламборджини», «Бентли» и другие). Тем удивительнее, что большинство профилирующих дисциплин, преподаваемых предметов и даже исследовательских проектов, предусмотренных в «Авто-Юни», включают в себя изрядное число тем, интеллектуальных навыков и курсов обучения, принадлежащих к традиции гуманитарных и, что менее странно, общественных наук. Создается впечатление, что многие инженеры, специалисты по маркетингу, топ-менеджеры убеждены — причем больше, чем представители мейнстрима современных гуманитарных наук, — что для успешной профессиональной деятельности весьма полезно регулярно анализировать трудные для восприятия стихи и обсуждать сложные философские проблемы.

Вне всякого сомнения, «Фольксвагену» удалось разглядеть будущее гуманитарных наук — возможно, неожиданное, но с институциональной точки зрения вполне надежное, а с интеллектуальной — обнадеживающее. Однако следует также отметить, что из-за недавних политических перемен в корпорации «Фольксваген», связанных скорее с конкретными лицами, нежели с программными идеями, непохоже, что самые амбициозные и будущие мысль проекты когда-нибудь станут реальностью. И все же вдохновляет

А в чем разница?

уже сам факт, что подобные проекты вообще существуют и обсуждаются на корпоративном уровне в качестве серьезной перспективы. Потому-то я и мечтаю о том, чтобы в академическом будущем гуманитарные науки играли более важную и менее случайную корпоративную роль, нежели в академическом прошлом. Ибо связь с формами преподавания, лежащими за пределами гуманитарных наук, ни в коем случае не означает, что функция последних будет сведена к вспомогательной.

И беседа с президентом Стэнфорда, и возможная судьба «Авто-Юни», какой бы разной ни была их симптоматологическая ценность, вынуждают нас предположить, что гуманитарные науки способны потерять свое традиционное место в университетах. Однако это вовсе не означает ни смертной казни, ни даже пожизненного заключения для традиции, стиля и функций «рискованного мышления». Рискованное мышление может с успехом существовать и даже процветать за стенами академических институтов. Для меня, между прочим, самый яркий и оптимистичный тому пример — ежегодные Баные чтения в Москве.

Опять наука = мышлению. Ну разве так можно? Не дав определения предмета — гуманитарные науки, — ни к чему не пришли.

Статья — замечательная иллюстрация к представлению о кризисе того, что все-таки на свете есть в виде науки, гуманитарной науки

Пер. с англ. Евгении Канищевой